

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ

11

КНИГА ВТОРАЯ

325

КНИГА ТРЕТЬЯ

463

*Дело, кажется, идет к тому, что скоро
романом будет считаться все, что
угодно, но только не сам роман. Впрочем,
может быть, это всегда так и было.*

ТОМАС МАНН

Посвящается С. Тароциной

Книга первая

* * *

В прихожей шубу надевал старик. Я поклонился. Он сказал: — В соседней лавке — четвертинки.

Не стану вас томить, сейчас все объясню.

Коммунистическая улица стремилась к Дому творчества. Творили в Доме по мандату долга, а кое-кто — по совести.

Приехал я в Голицыно. Автографы меньших собратий янтарно метили сугробы. Торчали палки выше елок. И это значило, что радиоантенны — знак цивилизации, а елки-палки — черте что. Поземка слизывала след. Семен Израилевич Липкин прав: есть мудрость и в уходе без следа. Но прах меня возьми, охота наследить в литературе.

А вот и Дом. Он зажигал огни, как пароход; большая застекленная веранда казалась рубкой. Робея мэтров, я вошел в прихожую. Там шубу надевал писатель Виктор Фи-к. Четвертинки! Не надо усмехаться, господа. Он дал мне направление, где булькает Кастальский ключ, источник вдохновения. Отнюдь не западный, а коренной, калужского или рязанского разлива.

Чернила ж были марки “Мосбытхим”. Работать надо, а не плакать, хоть на дворе февраль. А вечером ступай к застолью. Умный монархист Шульгин сметал съестное дочиста, как зек перед отправкой на этап. Потом они с Виктором Фи-ком, иудеем, имели дружелюбные беседы; казалось

мне, старик Василь Витальич позабыл свой роковой вопрос: чего нам в *них* не нравится... А рядом опрятные старушки вычисляли, кто спал с поэтом имярек тому лет сорок. Засим, мечтательно зевнув, определяли — таблетки эти до еды иль перед сном?

* * *

Давно уж написал я очерк “Бурный Бурцев”. Никто и ухом не повел. Несправедливо! Врагу спецслужб веревку мылили и монархисты, и коммунисты, и нацисты. Казалось бы, передовое человечество мой очерк примет на ура. Так нет, молчок. Обидно!

Имеет каждый век свою черту, заметил хитроумный француз-энциклопедист. А Пестель слямзил, и все решили, что Пал Иваныч в корень зрит. Приоритеты не моя забота. Но дело здесь серьезное. Наш с вами век, он тоже наделен чертой: Христос — лишь догмат, Иуда — руководство к действию.

Ваш автор приступил к работе, блуждая по кривым дорогам февраля. В положенные сроки ударила капель. И это означало: запрягай коней. И отворяй ворота. А ежели без аллегорий, наготове романские зачины.

Прошу взглянуть.

“Цыплячья грудь и толстый бас у козлоногого Свердлова. Коба на него серчал. Оба ударили за актрисой. Сей треугольник воочию увидел Бурцев”.

“То в кибитке, то пешком переместился Пушкин с Колымы на Енисей. На крутояре монастырь стоял. Лествица вела на колокольню. Студила студа, был слышен шепот звезд, огромной полынней дымился Млечный путь, и там витал Васёна Мангазейский, рубаха распояской, босоногий. А умертвил Васёну не кто иной, как Пушкин, и Бурцев это знал”.

“В Париже, в отеле Дье, был госпиталь. Там умирал Владимир Львович Бурцев. В антоновом огне слились начала и концы:

Гвоздь плотницкий с креста Христа и маленький кривой сапожный гвоздик... Похоронили старика близ православной церкви, где был священником отец Илья, мой лагерный товарищ”.

Пора бы, кажется, и в путь. О, эта робость. Но тут все глянет нарочитым. А между тем всего лишь факт биографический. В кануны Первой мировой писатель Фи-к жил в Париже. Эмигрант и журналист. И он, представьте, был Бурцеву сотрудником в издании газеты. Как было не прочесть отрывки из обрывков?

Смеялся мэтр, мой сосед: “Заладил лад баллад”. Смахнул слезинку и принялся пихать табак в чубук. Зарезал без ножа.

В тот день обосновался в Доме Ю. Олеша. В клозете по утрам не пел, но мне, конечно, не завидовал. Не позавидуешь тому, кто с вилами на рифмы прет, а сам, на грабли наступая, ищет ритмы. Занятие опасное, оно чревато аритмией.

Пример мой — всем наука. На “скорой” увезли в реанимацию.

* * *

Там смерть юрит воровкой.

Меня загородили ширмой, и я лежал в долине Дагестана со свинцом в груди. В день без числа разорвалась завеса. Ни дать, ни взять клеенка или коленкор. Исчезла ширма, явился НЛО. Но вовсе не предвестием антихриста. Нет, братцы, текстом. От альфы до омеги; как говорится, целокупно, а главное-то вот: за выслугою лет уволен Хронос; все в настоящем, как эта капельница, и это смертное шурх-шурх, и жаркая долина Дагестана.

Синюшными губами я шептал: “Продли мои земные дни”.

Он внял и повелел: “Ступай”.

В слиянье Бронных, Большой и Малой, два аиста, воздевши клювы, вторили Вертинскому: “Я ма-а-аленькая балерина”. У ресторана приседали лимузины, таков инду-

стриальный книксен. В витрине бутика мадам надменна, будто бы не манекен, а манекенщица. А дальше уж моя парадная при всем параде — лохмотья пакли, дохлая пружина свое бессилье превозмочь не может. На лестничной площадке напрудил Толик-алкоголик. Ура, я дома!

И никаких застолий. Тотчас к столу.

А ты, читатель-друг, а также и читатель-недруг, откупи бутылку пива и перечти, пожалуйста, эпиграф.

* * *

В доме на улице Сен-Жак... Не правда ли, хорошее начало? Оно ласкает слух привычной беллетристикой... На улице Сен-Жак в невзрачном доме жил парижанин Анатолий, такой же алкоголик, как наш московский Толик. Но Анатолий, страхась консьержки, угрюмой тетки (в Париже тоже тетка есть), не напрудил на лестничной площадке.

Скажу вам сразу, Владимир Львович Бурцев любил Россию и потому почти всю жизнь прожил в Париже. Гонимый за дешевизною, менял он адреса. Но оставался поэтажный запах лука и жареной селедки. А дух квартирный был керосинно-типографским. О мебели не стану — их историческая родина какой-нибудь блошинный рынок. Три с минусом, не так ли? Оно бы так, но фотографии на белой стене! Никто в Париже не имел такой коллекции: агенты-провокаторы, творцы грядущей революции, по совместительству ее могильщики.

Противодействовал В.Л.* В департаменте полиции, в доме на Фонтанке давно он значился как сын штабс-капитана и беглый каторжник. Сказать точнее, сукин сын. И было удивленье, скрытно-уважительное: уникам! Оно и верно, кому вподым срабатывать такое без штата и вне штата?

* Здесь и далее имя и отчество Бурцева иногда обозначается литерами: В.Л. Здесь и далее авторские сноски обозначаются литерами Д. Ю. Ибо из Ю. Д. возникает звук почти неприличный.

Рассказывать нет нужды, он сам когда-то рассказывал о всех перипетиях. Читайте, тошно станет.

Так вот, портреты. Злодеи в узкобортных тройках, усы ухожены, а трости с инкрустацией и без. Одни напряжены, как в поисках, где справить второпях нужду; другие напряженно раскрывают секрет фотографических процессов.

И вдруг ты цепенеешь. В простенке между окнами портрет размером больше прочих. Ага, Азеф! Губасто-мокрогубый, извините, масляное масло. Низколобий. Подстрижен ежиком. Покатая плечистость. Едва не лопнет от натуги крахмальный воротничок. Всё вместе — биндюжник и его бугай.

Азеф — всемирного масштаба обер-иуда. Вариант фамилии — прошу заметить — Азиев. Его портрет имеет сходство — см. “Портрет” — с ростовщиком, которому наш добрый Гоголь придал черты малоазийские, то есть жидовские. Азеф-Азиев и этот ростовщик имеют общность выраженья глаз. Что в зеркале души? Таинственная страсть к предательству. У, молчаливый ген, который притаился в каждом.

Бурцев, усмехаясь, повторял: “А мне, ей-ей, не страшно”. Его и Леонид Андреев не пугал. Нисколько. Поскольку тот ему писал: “С великим интересом, порою прямо-таки с восторгом, смотрю, как вы идете по этому зловещему маскараднему залу, где все убийцы и мерзавцы наряжены святыми”.

Андреев думал об Иуде. Бурцев — об иудах.

А г-н Неймайер задался вопросом: Иуда был, но был ли он иудой?

* * *

Случится посетить Неаполь, рекомендую отель “Британик”. Едва выходишь, как убеждаешься: вулкан дымится. Имеется в виду — и умозрительно, и визуально — известнейший Везувий. Мне не забыть, как Франс, который Анато-

лий, неосторожно воспалил вулкан. В рассказе “Понтий Пилат”. А ведь во времена Пилата, пусть и позднего, Везувий-то еще не раздражили. У Анатоля Франса промашка вышла. Не столь уж крупная, по-моему. И все же следствие — утрата моего доверия. Рассказ-то сочинил он ради одной строки. Дряхлого Понтия, бывшего римского прокуратора, спрашивают о распятом еврее из Назарета, а бывший столп империи... Франс его не портретировал, а потому и сообщаю, что этот Понтий был с челкой из висюлек, похожих на охотничьи сосиски; глаза имел беледые, размером — яйца третьей категории; живая копия тех римских бюрократов, изваяния которых видишь в музейном зале, коли приходишь не затем, чтоб закусить бычком в томате... Пилата, повторяю, спрашивают об Иисусе, каратель же, поморщив лоб, ответил, что он, хоть вы его убейте, такого не припомнит. Причиной не малярия, добро бы так. И не то чтобы Пилат вторично руки умывал, это бы куда ни шло. Автор дает понять, что Распятый всего-навсего еврейский агитатор-пропагандист, а таких всегда в еврействе много, всех не упомнишь. Вот это он имел в виду, французский Франс. Ан нет, не веришь автору. Какое может быть доверие, коли слезил в детали, про вулкан-то?!

Потом поправку внес: нет, не дымил Везувий, он “смеялся”. И все, нас уверяет Франс, остались им довольны. Поди-ка угадай, где пышку получишь, а где синяк набьешь. Горький щегольнул: “Море смеялось” — досталось на орехи. А между тем, оказавшись на Корсо Витторио, вы увидели бы не только вулкан, но и залив — смеется солнечная рябь. На горизонте — абрис, сизый абрис острова. А там, конечно, Горький. Там и Андреев. Он размышляет об Иуде.

* * *

Какая пудра, голубая эта пыль. И тусклый запах захолустья — горящий с треском хворост, навоз иссохлый да клочок